
АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВ,
ТАТЬЯНА КРАВЧЕНКО

ЗАДЕРЖАННАЯ ВЕКОВОМ ВСТРЕЧА

Из всех крупнейших поэтов Серебряного века, несомненно, наиболее глубоким драматизмом в отношениях с властью проникнуто творчество Николая Клюева.

Он начинал со стихов (далеко еще не «клюевских»), исполненных социального протеста давно уже одряхлевшей народнической музыки. Параллельно, правда, создавались им «песни» иной направленности – «радельные» для треб хлыстовского «корабля», для которых их слагатель отрок Николай состоял в память своего «предшественника», библейского автора псалмов, «царем Давидом». Но и здесь основным мотивом было неприятие погрязшего во зле мира и чаяние лучших времен. Юношеский период клюевских поэтических опытов завершился созданием самобытной и глубинной поэзии Святой Руси, «мужицкого космоса» («Избяные песни», 1914–1916). Здесь тоже, при всей гармонии созданного поэтом «берестяного рая», «Рублевской Руси» оставалось место для ожиданий другого рода. Клюев не прочь был увидеть сотворенную им «громаду» старообрядчески-крестьянского благолепия осуществленной в исторической России.

Подходящей для такой цели представилась ему на первых порах большевистская революция. Он посвящает Ленину цикл стихотворений, в которых вождь революции представляется ему неким патриархом крестьянской старообрядческой России («Есть в Ленине керженский дух, / Игуменский окрик в декретах...»), прославляет «сермяжные советские власти» и даже вступает в Коммунистическую партию. Вскоре поэт, однако, уясняет, что идет, как тогда же определил С. Есенин, «совсем не тот социализм», а его надежды на то, что «возлюбит грозный Ленин / Пестрядинный клюевский стих», явно несбыточны. Да революция и сама в лице другого ее вождя не признает поэта своим: в 1922 году Л. Троцкий в специально посвященном ему очерке (в числе других писательских портретов) ставится роковой диагноз и поэту, и его «избяному космосу»: «Духовная замкнутость и эстетическая самобытность деревни <...> явно на ущербе. На ущербе как будто и Клюев» («Правда»). Исключение из партии (за посещение церкви) – еще один удар по революционным иллюзиям поэта, бесповоротно переходящего теперь в стан литературных изгоев.

Но и тут Клюев не выключается из напряженнейшего магнитного поля идеологической ситуации в России. Его поэзия с еще большей силой, чем недавно революционным пафосом, проникается теперь пафосом воспеваания гармонии и «лада» обреченной на слом патриархальной России, Святой Руси. В поэмах-реквиемах «Плач о Сергее Есенине», «Деревня» (обе – 1926), «Соловки» (1926–1928), «Погорельщина» (1928), «Песнь о великой матери» (1929–1934) им создается подлинно национальный, высокохудожественный трагический эпос России XX века. При всем том «нерукотворная Россия»

в этих поэмах предстает не только гибнущей, но и глубинно-спасаемой, заветной, подобно Китеж-граду, в нетленных строках ее последнего рапсода.

Другая тема, бушевавшая теперь поэзию Клюева, – это проклятие силам, разрушающим Россию. В основном это стихи 1920-х и особенно 1930-х годов – стихотворение “Хулителям искусства” (1932) и цикл “Разруха”, ставший последним произведением поэта на воле и подлинным в русской поэзии апокалипсисом России XX века, начинающимся со строк, предсказывающих то, что сейчас воспринимается как сбывшаяся реальность. Здесь и “мертвая тина” Арала, и мелеющая “синяя Волга”, и уничтоженные заповедные леса, и бесплодные нивы, и исчезающие от злой пагубы птицы (“Нас окликают журавли / Пролетной тягую впоследки...”), и рытье печально знаменитого канала (“То беломорский смерть-канал, / Его Акимушка копал, / С Ветлуги Пров да тетка Фекла, / Великороссия промокла / Под красным ливнем до костей / И слезы скрыла от людей, / От глаз чужих в глухие топи...”).

Цикл стихотворений “Разруха” стал последним произведением Клюева, открыто и бескомпромиссно направленным против новой власти в России. Но затем...

2 февраля 1934 года Клюев был арестован по обвинению в антисоветской агитации.

Осужденный на пять лет ссылки (поначалу более сурово – ИТЛ), он был весной 1934 года этапирован в город Колпашев на Оби (Западная Сибирь, Нарымский край). Открывшаяся ему картина тамошней жизни ужаснула его и нечеловеческими условиями существования, и явной перспективой гибели. Его письма оттуда близким и знакомым полны отчаяния и мольбы о помощи: “Население – 80% ссыльных – кавказцев, сартов, экзотических кавказцев, украинцев, городская шпана, бывшие офицеры, студенты и безличные люди с разных концов нашей страны – все чужие друг другу и даже, и чаще всего, враждебные, все в поисках жранья, которого нет, ибо Колпашев давно стал обглоданной костью <...>. Но больше всего пугают меня люди, какие-то полупсы, люто голодные, безблагодатные и сумасшедшие от несчастий. Каким боком прилепиться к этим человекообразным, чтобы не погибнуть? Но гибель неизбежна. Я очень слаб, весь дрожу от истощения и от не дающего минуты отдохновения большого сердца, суставного ревматизма и ночных видений”¹.

Однако в октябре (на самый праздник Покрова) его участь чуть-чуть смягчается, из Колпашева его переводят в Томск, что поэту дает возможность даже с некоторым облегчением вздохнуть: “Я чувствую себя легче, не вижу бесконечных рядов землянок и гущи ссыльных, как в Нарыме. А в Томске как будто бы потеплее, за заборами растут тополя и березы, летают голуби, чего нет на Севере” (Ей же – Словесное древо. С. 341). Кому поэт оказался обязанным такой милостью, осталось неизвестным.

Но еще до перевода в Томск в Колпашеве поэтом овладевает отчаянная мысль прибегнуть ради спасения своей жизни и творчества к помощи тех самых сил, по воле которых он сюда попал. Так возникает замысел поэмы “Кремль”, название которой говорило уже само за себя: этот издавна венчавший собой всю государственную Россию топоним Москвы являлся и местом обитания новой власти, и символом ее политического режима. Ей и предназначал поэт, надеясь опубликовать в каком-нибудь московском журнале свой скорбный труд, не сомневаясь в его праве быть достойным столь высокого адресата.

Правом таким поэма “Кремль” вполне обладала, поскольку соответствовала направленному туда же еще ранее Заявлению во ВЦИК от 12 июля 1934 года с просьбой о помиловании или хотя бы смягчении условий ссылки и заверением поэта в преклонении перед “Советовластием” и партией “со всеми ее директивами и бессмертными трудами”: “Чту и воспеваю Великого Вождя мирового пролетариата Сталина! Обязуюсь и клянусь все силы своего существа и таланта отдать делу социализма. Прошу помилования” (Словесное древо. С. 413–414) – завершал “сквозь кровавые слезы” свое обращение к хозяевам жизни доведенный до предельного отчаяния поэт.

¹ Письмо Н. Ф. Христофоровой-Садомовой от 10 июня 1934 г. – Клюев Н. Словесное древо. СПб., 2003. В дальнейшем ссылки на это издание даются в тексте (Словесное древо) с указанием страницы.

Оставшаяся долгие десятилетия неопубликованной поэма “Кремль” не могла, естественно, быть предметом того или иного общественного мнения. Единственно известно о ней лишь высказывание Р. В. Иванова-Разумника, имевшего возможность прочесть ее в оригинале, предоставленном ему другом поэта А. Яр-Кравченко (к кому поэма была прислана). Иванов-Разумник, хорошо лично знавший Клюева и неизменно высоко ценивший его поэзию, начиная уже с первых книг, теперь об авторе “Кремля” высказывался как о человеке, “сломленном нарымской ссылкой и томской тюрьмой”, как о человеке, “павшем духом”, а назначение такого сочинения рассматривал как попытку “вписаться в стан приспособившихся”, в итоге утверждая: “Вымученный “Кремль”, если бы он даже сохранился, не прибавил бы лавров в поэтический венок Клюева”¹.

С такой прямолинейностью едва ли можно согласиться. Поэма на самом деле значительно сложнее и никак не однозначна. Она многослойна, как и само изображаемое в ней время: “Моя родимая страна, / То лебедь, то булат каленый...” Лирическая стихия, как и во всех поэмах Клюева, преобладает и здесь в форме страстной исповеди. И что уж греха таить, сердечные признания поэта носят по преимуществу характер его самоопределений по отношению к власти: “Тебя по-клюевски приемлю / Всей глубиной, как море звезды...” – признается он ставшему теперь его кумиром Кремлю. Но вместе с тем он не забывает напомнить и о “глубине” других своих откровений, например, в словах о собственных губах “с рябиновой краснинкой, / Что пели вещью волюнкой, / Но чаще тайное шептали!”

Аналогичные упомянутому “Заявлению во ВЦИК” признания составляют лишь поверхностный пласт поэмы. “Товарищи, я кровно ваш...” – обращается поэт с уверением к властителям кремлёвской твердыни. И наивно подсказывает им, как было бы желательно решить его судьбу: “Ты умчи меня домой, / Красногривый конь Советов!” Здесь же и громкое, во всеулышание, отречение от себя прошлого: “Я пробудился внешнегромным / И ягуаром разъяренным, / Рычу на прошлого себя...”

Клюев хорошо понимал законы репрессивно-карательного жанра, без которого не могла обойтись и его поэма. Здесь обещаний исправиться и перемениться, разумеется, было мало. Требовалось признание вины. “Взломщика и вора” своей судьбы поэт нашел в своем собственном “лукавом сердце”. Одного себя на разные голоса винит он в своих бедах... Он называет себя “преступником”, признается, что “стал самому себе не люб”, и лишь “укоризненной кровью” надеется “отмыть позор”.

Перечисляются и виды самой “вины”. Это прежде всего преданность патриархальной Руси, своему “избяному космосу” с “избою с лестовкой хлыстовской”, а также непризнание в прошлом “европейской” стези России, что “империи петровской”, сулящей в будущем, понимай, технический прогресс, противопоставил патриархальную “Русь Боголюбского Андрея”.

В поэме осуществляется активная замена прежних ценностных знаков клюевского поэтического мира противоположными. Если прежде “железо” и “сталь” выступали символами губительного технического прогресса, то теперь их образы выражают торжество победившего “железного гостя”: “Я песнослов, но в звон сосновый сталь впрядаю...”, “У потрясенного Кремля / Я научился быть железным...” – возглашает поэт. Давно ли о колхозе в цикле стихотворений “Разруха” гнусаво разглагольствовал только ворон (“О ржавый череп чистя нос, / Он трубит в темь: колхоз, колхоз!..”), а теперь счастливая колхозная жизнь с ее небывалыми урожаями – одна из самых эйфорических тем “Кремля”: “Колхозами рудеют села, / Багряным праздником борозд”. Учил автор и расхожую идеологическую тему трудового энтузиазма масс (“мозолиста рука страны”), созидая социализм “под солнцем пролетарской власти”. Не обошел также идею спасительной миссии социалистического строя для мирового пролетариата (“Чтоб раб воспрянул, солнцем сытый!”), символом которой выступает в поэме все тот же Кремль.

В качестве направляющей и ведущей к “светлому будущему” силы толпятся в поэме фигуры вождей. Прежде поэт не находил нужным уделять им особенное внимание, за исключением отмеченного выше цикла стихотворений “Ленин”, где герой был достаточно уже мифологизирован в соответствии

¹ Иванов-Разумник Р. Писательские судьбы // Возвращение. М., 1991. С. 339.

с представлением поэта об идеальном правителе крестьянского государства. Присутствует он и в поэме “Кремль” – как выразитель некой отвлеченной силы: “. . . профиль Ленина лобатый / Утесом бороздит закаты!”

Главной фигурой, понятно, выступает Сталин. Но и его характерные черты лишены оригинальности: “могучий кормчий”, “бурями повелевает”, а сугубо клюевское в нем только то, что он “озимый вождь и брат любимый!”

Часто упоминается в поэме Ворошилов. Как нарком обороны он предстает здесь с атрибутами парадно-государственной мощи: “На алмазном коне, / В пурпурно-строгой тишине / Знамен, что плещутся во взгляде. . .” Если прежде на социальный заказ властей воспеть их режим поэт отвечал убийственными строками (“Рогатых хозяев жизни / Хрипом ночных ветров / Приказано златоризней / Одеть в жемчуга стихов, / Ну что же: не будет голым / Тот, кого проклял Бог. . .” – *Нерушимая стена*, 1928), то теперь он старается преуспеть как раз в обратном: “алмазный” конь Ворошилова превращается затем в “гиацинтового”, а восседающий на нем всадник предстает с “вишневым заревом во взгляде”.

Пересматривает Клюев и свои прежние позиции по отношению к литературной братии. По-прежнему близкими остаются ему С. Клычков, П. Васильев, О. Мандельштам, Б. Пастернак, но к С. Есенину у него здесь двойственное отношение: невозможность освободиться от плена все еще не остывшей к нему любви и одновременно стремление развязаться с ним как поэтом окончательно “ушедшей” Руси. А главное, автор “Кремля” старается примириться с чуждым ему прежде В. Маяковским, А. Прокофьевым и даже А. Безыменским, чья рецензия на его поэму “Деревня” имела явно доносительный характер.

Но наравне с подобными образами, смысл которых выражен явно и прямо, “Кремль” изобилует скрытыми смыслами, их неоднозначными столкновениями, сложными аллюзиями, всем тем, из чего можно сделать заключение, что при всем самоуничижении, отречении от своего прошлого, при всей роскоши эпитетов, на которые поэт не скупился для враждебно относящейся к нему действительности, Клюев сумел отметить и неприемлемые в ней для себя черты. Даже о своей любви к тому самому проклинаемому прошлому он все же проговаривается: “Хоть прошлое как сад люблю, / Он позабыт и заколочен. . .” О своей обреченности быть ему верным до конца он высказывается весьма достойным стихом: “Лишь я, как буйвол, запряжен / В арбу с обломками Рассеи. . .”

Не всему и не всем в прославляемой им действительности расточает поэт свои славословия. Не позволяя совсем уж втапывать в грязь свою прежнюю поэзию, верную заветам Тициана и Феофана Грека, он восклицает: “Молчи! Волшебные опалы / Не для волчат в косынках алых!” (понимай – комсомолок) – “Им подавай утильный стих. . .” – досказывает он, по-прежнему оставаясь противником искусства сугубо “социального заказа”. Правда, тут же следом он смягчает свое утверждение пояснением: так будто бы он рассуждал раньше. Но эта поправка уже не идет в счет, поскольку все высказанное подлинным стихом становится безусловной, неоспоримой, значимой ценностью.

Высказываясь с гордостью за “свой” политический строй, поэт чаще всего употребляет образ “ширококрылой гордой птицы”, хотя она оказывается хищной – орлом или беркутом, цель которой “когтить седое воронье”. Готов поэт применить этот образ и к себе: “Беркутом клёкнуло перо”. А мирный соловей, традиционно воспевавший красавиц и любовь, теперь “. . . сыплет бисером усладным / Полкам, как нива, неоглядным! . . .”

Государство приобретает в поэме Клюева образ хищного монстра. Образы жестокости сами собой проступают сквозь весь ее текст: тут и лихая сабля, что “ненароком / Окунута в живую печень”, медведь, который “лосиной матке / Сдирает мясо у лопатки”, и рысь “крававит лосихе вымя”, и самого поэта, “как барс трусливого ягненка”, помчал разразившийся обвал истории. Не случайно красным цветом представлена почти вся цветовая гамма “Кремля”. Назначение этих образов – дать определенное направление читательской мысли.

Только к концу поэмы, воздав должное всем добродетелям “железной” и “красной” от крови советской эпохи, осмеливается поэт напомнить о себе, обреченном на злую участь (предназначенную ему реальным Кремлем) окончить жизнь “под небом хмурого Нарыма”.

Поэма создавалась в тяжелейших для поэта условиях — он был изолирован от литературной, творческой среды, при невыносимом быте. Возможно, отчасти этим объясняется обилие в ней и реминисценций, и автоцитат.

Не представляя собой вершинного художественного достижения в наследии Клюева, поэма “Кремль” тем не менее является уникальным человеческим документом. Она отнюдь не свидетельство поэтического краха поэта, как считал Иванов-Разумник, а, скорее, памятник его трагической судьбе и в итоге все-таки верности самому себе.

* * *

Представляющейся сегодня возможностью познакомиться с неизвестной поэмой Клюева читатель обязан дружбе Клюева с начинающим художником Анатолием Яр-Кравченко, начавшейся в 1928 году в Ленинграде, когда первому было сорок три года, а второму не исполнилось еще и семнадцати.

Клюев к тому времени имел уже за плечами звездное прошлое в столь непродолжительном, но блистательном, насильственно прерванном расцвете отечественной поэзии начала XX (*Серебряного*) века. Свою поэтическую мощь он не утратил и к моменту встречи с юным другом, только теперь она приобрела глубоко трагическое звучание. Дружба с Анатолием блеснула ему светлым лучом как раз в мрачную пору его жизни отверженного поэта, закончившуюся ссылкой, затем тюрьмой и расстрелом. Поэтому не случайно почти вся его поздняя лирика (конец 1920-х — начало 1930-х) посвящена в основном Анатолию. К нему же обращен огромный пласт клюевского эпистолярия.

Каким предстает в поэзии Клюева Анатолий? Он видится поэту то братом по трагической судьбе, то, наоборот, представителем племени победителей, “товарищем, вскормленным звездой...” Однако вовсе не тем и не другим привлекателен Клюеву Анатолий. Обаяние его человеческих качеств, ассоциации с природным миром составляют основу поэтического образа Анатолия в клюевских стихах (“подснежник в бороде у старца”). Особенно восхищают поэта его глаза (“карий всполох глаз перловых”). “Ни одна минута, прожитая с тобой, — признавался он в письме Анатолию от 23 мая 1933 года, — не была не творческой” (Словесное древо. С. 299).

Чем еще мог одарить полунищий поэт делающего первые шаги в искусстве друга? Когда-то в одном из писем высказывался он о “жажде отдать, перелить, переселить свой дух” в тогда еще верного ему Сергея Есенина (в письме к издателю В. С. Миролюбову, начало марта 1918 года). Тою же жадой исполнен он и теперь. Через год после знакомства Анатолия с поэтом родители получают от него письмо с не совсем обычной просьбой: он просит разрешения слегка изменить фамилию: уж больно много сейчас в мире искусства Кравченко, хотелось бы как-то от них отделиться, например, предлагаемой Николаем Алексеевичем к родовой фамилии добавкой Яр, чтобы получилось Яр-Кравченко. Разрешение было получено — и “переселение” состоялось.

Клюев принимает самое действенное участие в поступлении Анатолия в Академию художеств, помогает ему в устройстве с бытом и даже кое-какими скромными студенческими заработками. И не кому-нибудь, а именно ему доверяет написать портрет своего любимого Сереженьки, обеспечивает его в связи с этим нужными материалами, знакомит с людьми, близко знавшими Есенина.

Едва ли нужно распространяться о благодарности Анатолия Яра своему покровителю. Уместнее будет сказать о его восхищении им как личностью. Высокий авторитет старшего друга в элитарных художественных кругах дополняется для него, человека тонкой эстетической восприимчивости, силой его поэтического дара. Вот он пишет родным: “В субботу в Союзе писателей Н. А. Клюев читал “Погорельщину” два часа без перерыва <...> Это одно наслаждение. Все неистово аплодировали”¹ (15 янв. 1929). Анатолия восхищают и клюевские письма к нему: “...сегодня получил письмо из Вятки от Н. А. Это необыкновенное и особенное письмо. Там заключительные строки: “Свете тихий да озарит душу твою”. Какая большая радость!” (родителям от 19 авг. 1929 — Наследие комет. С. 34).

¹ См.: Кравченко Т., Михайлов А. Наследие комет. М. — Томск, 2006. С. 23. Далее ссылки на это издание даются в тексте (Наследие комет) с указанием страницы.

Дух клюевского влияния отмечает в своем бывшем ученике его педагог И. Селезнев: “У тебя, друже, есть необыкновенный вдохновитель – Клюев! Это громадная радость иметь общение с таким поэтом! Его творчество будит твою душу, и твои нарождающиеся художественные сны облакаются в надлежащий и выразительный наряд... Не бойся этих снов. Это то, для чего стоит жить. Это то царство-государство, где можно спрятаться от теперешней окружающей нас мрази” (11 мая 1930 – Наследие комет. С. 6). “Очень часто вспоминаю тебя, твое юное одухотворенное лицо, твои стихи и вдохновенного певца сказочной Руси Н. А. Клюева” – высказывается он в том же письме.

Как сформировавшийся впоследствии художник-профессионал Анатолий Яр-Кравченко оказался весьма далеким от поэтического мира (“сказочной Руси”), возникшего на его пути в юности старшего друга. В 1930-е помимо учебы в Академии художеств (по мастерской И. Бродского) он подвизается в репортажных зарисовках советских будней для ленинградской периодики. Даже его дипломная работа “Ремонт судов на зимней стоянке” носит характерную печать соцреалистического утилитаризма. Перед началом 1941 года им создается предназначенный в подарок VIII чрезвычайному съезду Советов альбом “И. В. Сталин”. Тогда же он окончательно делает портрет своим “ударным” жанром, рисует героев советской эпохи. В годы Великой Отечественной войны им было увековечено около 540 летчиков – героев Ленинградского фронта. В дальнейшем эта тематика продолжилась портретами космонавтов.

Своим пером и кистью знакомил также художник общество с передовиками производства, учеными, деятелями науки, искусства. Напрасно искать в его альбоме “Галерея советских писателей” (1949) тех, у кого не сложились взаимоотношения с властью, чье творчество выходило за рамки соцреализма. Но кто бы из рассматривавших данную галерею мог догадаться, что был в жизни этого жестко ангажированного господствующей идеологией художника совершенно другой период, связанный с именем противника коммунистической власти Николая Клюева, в иконографии которого портреты и наброски Анатолия Яр-Кравченко составляют основной фонд.

Арест Клюева не повлиял на отношение к нему со стороны Анатолия, о чем свидетельствуют его признания в письмах к родителям: “Н. А. не пишу по некоторым соображениям. Очень занят. Напишите ему самые лучшие и дорогие слова. Он благословил мой жизненный путь великим светом красоты и прекрасного. Имя его самое высокое для меня” (18 февр. 1935 – Наследие комет. С. 190). Им же чуть позже с Кавказа: “Я среди этих каменных гор и этого гордого молчания природы много думаю о дедушке, который прошел через мою жизнь, показал мне диковинную птицу и ушел. А я стою зачарованный, стою, боюсь дышать, чтоб не отпугнуть паву. Но она неудержима, обнимает протянутые к ней руки и расправляет крылья, чтобы улететь. Я плачу” (5 мая 1935 – Наследие комет. С. 192). Письма Анатолия в сибирское заточение Клюеву не сохранились.

Чувство Клюева к Анатолию не иссякало до конца. Именно ему присылает он с наказом опубликовать свой “Кремль”.

Впервые о поэме Клюев упоминает в письме Анатолию, отправленном в первой половине июня 1934-го: “Написал поэму – называется “Кремль”, но нет бумаги переписать. Как с поэмой поступить – посоветуй! <...>”

“Кремль” я писал сердечной кровью. Вышло изумительное и потрясающее произведение...” (Словесное древо. С. 315).

В следующем письме ему же (вторая половина июня) с глухим упоминанием, надо полагать, о муках, причиненных сделкой с совестью: “Я написал, хотя и сквозь кровавые слезы, но звучащую и пламенную поэму. Пришлю ее тебе, отдай перепечатать на машинке, без опечаток и искажений, со всей тщательностью и усердием <...> Шифр должен быть чистый, не размазанный лилово, не тесно строчка от строчки, с соблюдением всех правил и указаний авторской рукописи и без единой опечатки <...> Все зависит от рукописи и как ее преподнесешь. Прошу тебя запомнить это и потрудиться для моей новой поэмы, на которую я возлагаю большие надежды. Это самое искреннее и высоко звучащее мое произведение. Оно написано не для гонора и не с ветра, а оправдано и куплено ценой крови и страдания. Но все, повторяю, зависит от того, как его преподнести чужим, холодным глазам. <...> Все это очень серьезно” (Словесное древо. С. 317, 318).

О связанных с поэмой сладких мечтах поэт проговаривается в письме тому

же адресату от 24 июля того же первого года ссылки: “Если бы издать поэму! Напечатать ее в журнале рублей по 8-ми за строку. Какое бы было счастье! Я бы купил отдельную избушку с печкой кирпичной, с полом, содержал бы ее в чистоте, ты ведь знаешь, как я люблю обиход и чистоту! Все мечтаю об этом. Неужто не удастся? Как ты думаешь?..” (Словесное древо. С. 324). В письме от 2 августа: “. . . потрудись устроить мою поэму “Кремль”, ибо такие вещи достойны всяческого внимания – и могут быть созданы только в раю или на эшафоте раз в жизнь поэта” (Словесное древо. С. 330). Далее в этом же письме: “Кремль” – роковое мое произведение. Ты, конечно, это понимаешь без пояснений. Не давай рукописи никому, пока не перепечатаешь. Рукопись непременно украдут и даже продадут. Если можно, прочитай ее, не торопясь и не захлебываясь, собранию поэтов и нужных людей, но ни на один час не оставляй ее ни у кого в руках, чтобы не наслоилося на нее клеветы и злых мнений, что очень может повредить. Если <бы> какой-либо журнал захотел “Кремль” напечатать, то договорись о гонораре по высшей ставке, также и в отдельном издании. В моем голоде и нищете это очень важно. Ах, если бы напечатали! Я бы купил отдельную землянку, убрал бы ее по-своему с пушкинским расколотым корытом – и умер бы, никого не кляня. Дитя мое, помоги!” (Наследие комет. С. 226).

“Вышли мне “Кремль” для переделки. Это очень важно!..” (Словесное древо. С. 387) – последнее упоминание о поэме в письме Анатолию 23, 29 октября 1936 года уже из Томска.

Надежды поэта на улучшение своей участи с помощью “Кремля” не сбылись.

Не напечатанная ни в каком журнале и, вероятно, с учетом опасной в 1930-е годы ситуации в стране, не предлагавшаяся, поэма “Кремль” долгие десятилетия пролежала в архиве друга поэта и только в 2006 году была опубликована в составе всего обширного ключевского материала, хранившегося в архивах братьев Анатолия Никифоровича Яр-Кравченко и Бориса Никифоровича Кравченко в малотиражной книге Т. Кравченко и А. Михайлова “Наследие комет” (М. – Томск).

Данная републикация производится с исправлением допущенных ошибок и с более расширенными комментариями.

НИКОЛАЙ КЛЮЕВ

КРЕМЛЬ

ПОЭМА

Кремль озаренный, вновь и снова
К тебе летит беркутом слово
Когтить седое воронье!
И сердце вещее мое
Отныне связано с тобою
Певучей цепью заревою, –
Она индийской тяжелой ковки,
Но тульской жилистой сноровки,
С валдайскою залетной трелью!..

Я разлюбил избу под елью,
Тысячелетний храп полатей.
Матерым дубом на закате,
Багрян, из пламени броня,
Скалу родимую обняв
Неистошимыми корнями,
Горю, как сполохом, стихами
И листопадными руками
Тянусь к тебе – великий брат,
Чей лоб в лазури Арарат
Сверкает мысленными льдами!

Мои стихи – плоты на Каме
Несут зарницы и костры,
Котлы с ухой, где осетры
Глощают огненное сало,
И в партизанской пляске малый
Весь дым – каленая рубаха!..

Как тлен, содрал с себя монаха
И дав пинка лохмотьям черным,
Я предстаю снегам нагорным –
Вершинам ясного Кремля,
Как солнцу парус корабля,
Что к счастья острову стремится
Ширококрылой гордой птицей.

За мельником, презрев помол –
Котомку с лаптем переходим,
Как пробудившийся орел
Я край родимый озираю,
И новому стальному маю,
Помолодевший и пригожий,
Как утро тку ковер подножий
Свежей, чем росная поляна!..

Русь Калиты и Тамерлана
Перу орлиному не в сусло, –
Иною киноварью взгусло
Поэта сердце, там огонь
Лесным пожаром гонит сонь,
Сварливый хворост и валежник.
И улыбаясь, как подснежник,
Из пепла серебрится Слово, –
Его история сурово
Метлой забвенья не сметет,
А бережно в венок вплетет
Звонящим выкупом за годы,
Когда слепые сумасброды
Меня вели из ямы в яму,
Пока кладбищенскую раму
Я не разбил в крови и вопи,
И раскаленных перлов копи
У стен кремлевских не нашел!

Как радостно увидеть дол
Московских улиц и бульваров
В румянце бархатных стожаров,
Когда, посяв башлык ненастный,
В разливы молодости ясной
Шлет солнце рдяные фрегаты,
И, ликованием объятый,

Победный город правит пир,
За чашей братскою не сир,
Без хриплых галок на крестах
И барских львов на воротах!

Москва! Как много в этом звуке
За революцию поруки –
Живого трепета знамен,
От гула праздничных колонн
Под ливнем первомайских роз,
Когда палитра и колхоз,
Завод и лира в пляске брачной.
С Москвой купечкой и калачной
Я расстаюсь, как сад с засухой
Иль с волчьей зимнею разрухой,
И пью, бывшее потребя,
Кремль зарнокрылый, из тебя
Корнями огненную брагу,
Чтоб перелить напиток в сагу,
Как жизнь, республику любя!
Где профиль Ленина лобатый
Утесом бороздит закаты!

О, Кремль, тебе прибой сердешный,
Крылатый час и лирный вздох,
В зрачках озерных лунный рог
И над проталинкою вешней
Осиный танец, сон фиалки!..
Мильоном рук на вещи прялке
Ты заплетаешь хвост комете,
Чтоб алой розой на рассвете
Мирская нива расцвела
И медом капала скала
Без подъяремной дани небу!..

Не Ворошилова потребу
Угомонить колодкой рабьей! –
Остяцкой Оби, смуглой Лабе
Он светит буйственной звездой –
Вождь величавый и простой!
Его я видел на параде
На алмазном коне,
В пурпурно-строгой тишине
Знамен, что плещутся во взгляде
Вишневым садом, полным цвета!
Не потому ли у поэта
На лбу истаяла морщина?!
Клим – костромская пестрядина,
Но грозный воин от меча,
И пес сторонится, ворча,
Стопы булатной исполина!

Его я видел на параде
С вишневым заревом во взгляде,
На гиацинтовом коне,
В неувязимой тишине
Штыков, как море непомерных,
И виноградом взоров верных
Лучился коммунаров сад,
В румяный май, как в листопад,
Пьянеть готовый рдяной бурей,
Чем конь прекрасней и каурей,
И зорче ястреб на коне!

И веще слышалось мне,
Под цок торжественных копыт:
На лозе соловей сидит
И сыплет бисером усладным
Полкам, как нива неоглядным!
А где-то в Токио иль в Кёльне
В гнилой конуре раб бездольный
Слезю мочит черствый кус
И чует, как прибором блуз
Бурлят зеркальные кварталы, —
То Ворошилов в праздник алый,
Пред революции щитом,
Бессмертным бронзовым конем
Измерил звездные орбиты,
Чтоб раб воспрянул, солнцем сытый!

* * *

Кремль огневейный, ты ли, ты ли
Повыщербил на тучах были
И океану приказал,
Как стая львов, рычать у скал
И грызть надменные утёсы?!
Тебе рязанские покосы
В стога свивают мед зеленый,
И златорудые поклоны
Несет плечистая Сибирь,
Но певчий камень алатырь
Сберег лишь я Воротам Спасским
И в кошеле лесные сказки,
Зарей малеванный букварь,
Где хвойный лен спрядает хмарь! —
Прости за скудные гостинцы,
Их муза нацедила в рыльцы,
В корцы, затейные судёнцы,
Чтобы свежили комсомольцы
В залетных глотках глухоту
И молодую красоту
С железным мужеством связали!
Кремль — самоцветный дуб из стали,
Вокруг тебя не ходит кот
По золотой волшебной цепи,
Но песнолиственные крепки,
В сухой пустыне водомет,
Прохладой овевают землю!
Тебя по-клюевски приемлю
Всей глубиной, как море звёзды,
Как новобрачные борозды
Посев колхозно непомерный!
Я — сам земля, и гул пещерный,
Шум рощ, литавры водопада,
Атласом яблоневого сада
Перевязав, как сноп гвоздики,
Преподношу тебе, великий!

Поэт, поэт, сосновый Клюев,
Шаман, гадатель, жрец избы,
Не убежать и на Колгуев
От электрической судьбы,
И европейских ветродуев

Не перемогут лосьи лбы!
Как древен вой печной трубы
С гнусавым вороном-метелью!..
Я разлюбил избу под елью,
Медвежьи храпы и горбы,
Чтоб в буйный праздник бороньбы
Индустриальной юной нивы
Грузить напевы, как расшивы,
Плодами жатвы и борьбы!
О, жизнь! О, легкие земли,
Свежительнее океана!..
У черноземного Ивана
В зрачках пшеничные кули,
И на ладонях город хлебный –
Победно, фугою хвалебной,
По новям плещут ковыли
И жаждут исполинской вспашки! –
В пучину клевера и кашки
Забрел по грудь бесстрашный плуг,
Чтоб саранчи, глухих засух
Не знало поле, и рубашки
Льны подарили на округ!
Земля Советов любит лемех
И бодрый сон в ржаном эдеме,
Когда у Дарьи и у Прова
Амбар, как стельная корова,
Мучнистой тяжелеет жвачкой;
Не барской скаредной подачкой
Тучны мужицкие дворы,
Как молодница близнецами!..
И рыбной бурей на Каме
По ветру плещут топоры.

Свистят татарские костры,
Или заря, обняв другую,
Не хочет деду-ветродую
Отдать лесистые бугры
На буреломные осколы? –
Колхозами рудеют села
Багряным праздником борозд,
И за клюку держась, погост,
Трепля крапивной бороною,
Уходит мгlistою тропею
От буйной молодости прочь!

Красна украинская ночь,
На Волге розовы просонки,
И маков цвет на перегонки
С пунцовой кашкой и малиной...
Но кто же в радости овинной,
В кругу овсяных новоселий,
Желанным гостем пьет свирели
Дебелых скирд и прос прибои? –
Он предстоит в предбурном зное,
Как дуб под облаком грозóвым,
Ему вершинным вещим словом
Дано живить и жечь до боли,
Чтоб пряхе вьюг – студеной Коле,
Якутской веже и Донбассу
Шить жизнь по алому атласу
Стальной иглою пятилетий!
Не потому ли на рассвете
Костром пылают анемоны,

И Грузии холмы и склоны
Зурной не кличут черных бед,
А кипнем роз бегут вослед
Морей, где бури, словно сестры,
Гуторят за куделью пестрой,
И берег точит яхонт лоз?
Младенец-исполин колхоз,
Рожденный вещими устами,
Одной ногою встал на Каме,
Другою же тучнит Памир! . .
Садись за хлебопашный пир,
Озимый вождь и брат любимый!
Тебе, как гусли, из Нарыма
Поэт несет словесный кедр,
Он соболиной тягой щедр
И голубыми глухарями,
Чтобы в слезах, в жестоком сраме,
Переболев, как лось коростой,
Сомнением, я песен до ста
Сложил устам твоим крылатым,
Пока щербатые закаты
Оденут саваном меня!

Я жив видением Кремля!
Он грудь мою рассек мечом
И, вынув сердце, майский гром,
Как птицу, поселил в подплечье,
Чтоб умозрения увечье,
И пономарское тьморечье
Спалить ликующим крылом!
И стало так. Я песнослов,
Но в звон сосновый сталь впрядаю,
Чтобы Норвегия Китаю
Цвела улыбкой парусов,
И косную слепую сваю
Бил пар каленый. . . Стая сов
С усов, с бровей моих слетела,
И явь чернильница узрела,
Беркутом клёкнуло перо
На прок певучий и добро! –
Товарищи, я кровно ваш,
Моторной рифмою <гараж?>
Строку узорную пиля! . .
У потрясенного Кремля
Я научился быть железным
И воску с деревом болезным
Резец с оглядкой отдаю,
Хоть прошлое, как сад, люблю, –
Он позабыт и заколочен,
Но льются в липовые очи
Живые продухи лазури! –
Далекий пасмурья и хмури,
Под липы забредет внучонок
Послушать птичьих перегонок
И диких ландышей набрать. . .
Я прошлым называю гать
Своих стихов, там много дупел
И дятлов с ландышами вкупе. . .
Опять славянское словцо!
Но что же делать беззаконцу,
Когда карельскому Олонцу
Шлет Кострома “досель” да “инде”,
И убежать от пестрых индий

И Маяковскому не в пору?!
Или метла грустит по сору,
Коль на стихи дохнул Багдад
И липовый заглохший сад
Темно-зеленою косынкой?..
Знать, я в разноголосье с рынком,
Когда багряному Кремлю
По-стародавнему – “люблю”
Шепчу, как ветер кедру шепчет
И обнимает хвои крепче,
Целуя корни и наросты!...

Мои поэмы – алконосты,
Узорны, с девичьим лицом,
Они в затишье костромском
Питались цветом гоноболи,
И русские – чего же боле?
Но аромат чужих магнолий
Умеют пить резным ковшом
Не хуже искрометной браги.
Вот почему сестре-бумаге
Я поверяю тайну сердца,
Чтоб не сочли за иноверца
Меня товарищи по стали
И по железу кумовья.

Виденье красного Кремля
Нося в себе, как свиток дыма,
Под небом хмурого Нарыма
Я запылал лесным костром,
Его раздули скулы Оби,
В колодовом остяцком гробе
Угомонить ли бурелом?!
Я не угасну до поры,
Пока напевы-осетры
Не заплывут Кремлю в ладони
И на костях базар вороний
Не обернется мглистым сном,
Навеянным седым Нарымом
И Оби саваном!.. Но мимо!
Поэме – голубому лосю
Не спится в празелени сосен,
Ей все бы мчаться бором талым
Туда, где розовым кораллом
Цветет кремлевская скала!
Как перед ней земля мала
И круг орбитный робко тесен!
О, сколько радости и песен
Она в созвездьях пролила!

Тебе ли с солнцем спорить, мгла?!
Косматой ведьмой у котла
Ты растишь горб и зелье варишь,
Чтоб печенег или татарин
Пожаром сел, кошмою гари
Коммуны облик златокарий,
Как власяницей, заволок,
Лишь гробовым улиткам впрок!
Но тщетны черные кудесы –
Строители не верят в беса,
Серпу и молоту верны!
Мозолиста рука страны.
Но весны розовы на Каме,

Румяны осени в Полтаве,
И молочай пожрал в канаве
Орла с латунными когтями,
Чтобы не застил солнца рябо!
От камчадала до араба
Рог мускулов творящих слышен,
Он пальмы сирские колышет
И навевает сны Бомбею,
Что бледнорукому злодею
Надела Индия на шею
Мертвящей льдиною пифона...

Чу! Обонежских сосен звоны! –
Они сбежались как лопарки,
В оленьих шкурах, в бусах ярких,
Дивиться на канал чудесный,
Что в мир медвежий и древесный
Пришел посланцем от Кремля –
Могучий кормчий у руля
Гренландских бурь и океана!
И над Невую всадник рьяно,
Но тщетно дыбит скакуна;
Ему балтийская волна
Навеки бронзой быть велела,
И императорское дело,
Презрев венец, свершил простой
Неколебимую рукой,
С сестрой провидящей морщиной,
Что лоб пересекла долиной,
Как холмы Грузии родной!
Чу! За Уралом стонут руды!
Их бьет кирка в глухую печень,
И гордой волей человеческой
Из стран подземных вышли юды,
Вперяясь в ночь, как лунный филин,
И тартар, молотом осилен,
Ударной тачке выдал уголь –
Владыку чёрного и друга
В багрово-пламенной порфире.
И в прежней каторжной Сибири
Кузбасс шумит суровым садом,
Обилен медным виноградом
И мамонтов чугунным стадом,
Что домнам отдают клыки!..
Чу! Днепр заржал... Его пески
Заволокло пшеничной гривой,
И рёбра круч янтарной сливой,
Зелёным гаем и бандурой!..
И слушает Шевченко хмурый
Свою родную Украину, –
Она поёт не про степнину,
Где порубили хлопков паны, –
Сошлись бетоно-великаны
У святославовых порогов
Пасти железных носорогов
На синих исцелённых водах!

Цветёт подсолнечник у входа
В родную хату, и Оксана
Поёт душисто и румяно
Про удалого партизана,
Конец же песенки: “Кремлю
Я знамя шёлком разошью

Алее мака в огородец”.
И улыбается на солнце
Кобзарь-провидец... Днепр заржал
И гонит полноводный вал
На зависть чёрному поморью!
Оксана, пой вишнёвой зорью,
И тополь, сватайся за хату,
Тарас Николе, как собрату,
Ковыльную вверяет кобзу!
И с жемчугом карельским розу
Подносит бахарь Украине!

О, Кремль, тебе на Сахалине
Узорит сказку ороchon!
Лишь я, как буйвол, запряжён
В арбу с обломками Рассеи,
Натруживал гагарьи шеи,
С татарскою насечкой шлеи,
Ясачным дедовским напевом.
Но вот с вершин дохнуло гневом,
Зловеще коршун прокричал,
И в ледяных зубах обвал,
Как барс трусливого ягнёнка,
Меня помчал, где ливней гонка
И филин ухает спросонка,
Кровавит рысь лосихе вымя,
И пал я в глухомань в Нарыме!
И изблевал я желчь свою,
Зрачки расширил, как озера,
Увидя взломщика и вора
В лукавом сердце, и ладью
С охотничьей тунгусской клятвой,
Прошив упорной мысли дратвой,
И, песню парусом напружив,
На лов невиданных жемчужин
Плыву во льды путем моржовым,
Чтобы, как чайка, юным словом,
Лесою и веслом еловым
Покрыть коварную вину!

Как лосось мерит глубину,
Лучами плавники топыря,
Чтобы лунеть в подводном мире
И наглотаться перлов вволю,
Так я, удобрив сердце болью
И взборонив его слезами,
Отверженным, в жестоком сраме,
По-рыбьи мерю сам себя
И только образом Кремля
Смываю совести проказы
И ведаю, что осень вязу
Узорит золотом не саван,
А плащ, где подвиги и слава,
Чтоб встретить грудью злую зиму!

Я укоризною Нарыму
Зенков остяцких не палю
И зверобойному копыю
Медведем бурым сердце ставлю:
Убей, и дымною проталью
Пусть побредет сиротка муза
Наплакать в земляничный кузов
Слезинок, как осиный нектар! –

Ее удочерит не секта,
Не старый ладожский дьячок,
А в переплеск зурны восток
И запад в мрамор с бронзой тяжкой!..

В луга с пониклою ромашкой
Рязанской ливенкой с размашкой
Ты не зови меня, Есенин!
Твой призрак морочно-весенний
Над омутом вербой сизеет
С веревкой лунною на шее,
Что убегает рябью в глуби,
И водяник ветлу голубит,
О корни бороду косматя!
Медведю о загиблом брате
Поплакать в лапу не зазорно,
Но он влюбился в гул озерный
И в кедровый вершинный рог
И, чуя, как дыбится мох,
Теплеют яйца под тетёркой,
Увидел за октябрьской зорькой
Не лунный омут, где верба,
А льдистую громаду лба
В зубцах от молний мысли гордой,
И с той поры поклялся твердо
Сменить просонки на букварь,
Где киноварь, смолы янтарь,
Брусничный цвет и мох олений
Повыпряли, как пряжу, Л-е-н-и-н.
За ними старому медведю,
На свежем буквенном прогале,
Строка торжественная С-т-а-л-и-н
Сверкнула золотом и медью,
Потом через плетень калиной
Румяно свесилось К-а-л-и-н-и-н, —
Целовано тверским закатом.
И великанов — кедров братом,
Оборонительным булатом
Взыграло слово В-о-р-о-ш-и-л-о-в,
И буйный ливень из бериллов
Нечислимой рабочей силой!

Не снился вербе сизокрылой
Букварь волшебный, потому
Глядеться ей дуплом во тьму,
Роняя в лунный ковш барашки!
Прости малиновой рубашке
И костромскому лапотку,
Как на отлете кулику,
Кувшинке-нянюшке болотной —
Тебе ли поминать охотно,
Ветла плакучая Рязани?!
“Смешного дуралея” в сани
Впрягли, и твой “Сорокоуст”
Блинами паюсными пуст,
И сам ты под бирючий вой
Пленен старухой костяной, —
Она в кладбищенской землянке
Сшивает саван в позаранки...
Но мимо! Зеркало Советов,
Как хризопраз тысячегранно, —
Вот рощей утренней румяной
Звенит и плещет Сад Поэтов

И водопадом самоцветов
Поит искусства терпкий корень!
Васильев – перекасти-море
И по колону и по холку,
В чьей песне по Тибета шелку
Аукает игла казачки,
Иртыш по Дону правит плачки,
И капает вишневым соком
Лихая сабля, ненароком
Окунута в живую печень.
Домашний, с ароматом печи,
Когда на расстегай малинный
Летит в оконце рой пчелиный
И крылья опалает медом, –
Клычков! Пытливым пешеходом
Он мерит тракт и у столба,
Где побирешкою судьба
Уселась с ложкою над тюрей,
Поет одетые в лазури
Тверские скудные поля!

Но не ячменного комля –
Поджарого жильца разрухи
Дождались бабки, молодухи;
И Маяковский бил засухи,
Кротовы будни, брюки в клетку,
Чтобы родную пятилетку
Рядить в стальное ожерелье...

Прокофьев правит новоселье,
Дубком сутулым раскорячась,
Баян от Ладоги до Лаче
Напружа парусом сиговым!
И над кумачным изголовьем,
С еловой веткою за рамой,
Ему сияет лоб упрямый
Любимого из всех любимых!

Шиповником, повитым в дымы,
Ахмет Смоликов, шипы
Остря на правила толпы,
На вкусы в хаки и во фраке,
Наган, гитару, Нагасаки
В певучий короб уместя, –
Коммуны кровное дитя!
Октябрьских листьев кипень слыша,
Терновник иглами колышет,
Кичливо сторонясь жасмина,
Он золотится, где руина
И плющ влюбленный по пилястру,
У них цветы гостят почасту –
Пион горящий, львиный зев,
Пунцовый клеверный посев
И мята с пышным табаком –
И Мандельштама старый дом,
Но драгоценны окон ставни,
И дверь арабской филиграни,
От камелька жасминный дым!
Рождественский – осенний Крым,
Лоза лиловая и вдовья!
И Пастернак – трава воловья,
По-лермонтовски кипарис
С утёса загляделся вниз,

Где демон кровянит крыло
О зубья скал, и за весло
Рукой костлявою Харон
Берется, чтобы детский сон
На даче, под июльский ливень,
Перевезти в Багдад иль к Сиве,
Или в тетрадь, где черный мол
Качает месяца оскол!

Вот дерево – пакетом синим,
С приказом взять иль умереть,
Железный ствол и листьев медь
Чужды перестроеню линий,
И тянут лагерной кислинкой!
Ночной разведочной тропинкой
Змеится корень в колкий кремень,
Меж тем как мукомолом время
Ссыпает в ларь “Орду” и “Брагу”, –
То Тихонов!.. (То-ти, то-ти! –
Часы зовут, чтобы идти).

Чу! Безыменский – ярый граб,
Что в поединке не ослаб
С косматым зубром-листодером! –
Дымится сук, и красным хором
На нем уселися фазаны,
Чтобы гореть и клёктом рьяным
Глушить дроздов, их скрип обозный;
Меж тем в дупле петух колхозный,
Склевав амбар пшеничной нови,
Как сторож трубит в рог коровий,
Что молод мир, и буйны яри,
Что Волховстрой румянец карий
Не зажелтит и во сто лет!
Мое перо прости, поэт, –
Оно свиное и рябо;
Виденьем петуха и граба
Я не по чину разузорен! –
Кому ж рубин? Вот Павел Корин,
Лишь петухом исповедим,
Когда он плещет в зарь и в дым,
И, радуго связав охвостьем,
Полмира зазывает в гости
С кудрявым солнцем заодно,
И простирая полотно
Немереного ку-ка-ре-ку,
Сулит дрозду и человеку
Пир красок, водопады зерен –
Их намолот по звезды Корин
И, как дитя любясь раем,
Стал пировать и княжить баем!
Его кибитку Кончаловский
Словил мережею бесовской,
Тому уж будет двадцать пять,
И в кошмы кисти окунул,
Как лось рога в лесную гать, –
Не потому ль сосновый гул
От нестареющих полотен,
И живописец пчелкой в соте
Живет в сердцах и сладко жалит?!
Его палитра в пестрой шали
Проходит поступью Фатимы
Строительством, где брезжат Римы

За пляской балок и стропил,
Прекрасная и, златокрыл,
Над нею веет гений века!..

Кто просини и умбры реки,
Как зори, пролил в пятилетку
И в ярославскую беседку,
Где клен и хмель ползет по рамам,
За сусло Гаагу с Амстердамом
Старинной дружбой усадил? –
Ты, Яковлев! Чьей кисти пыл
Голландию с любовью детской
Тюльпан в цветник замоскворецкий
Пересадил гераням кумом! –
Она глядит на нас угрюмо,
С ревнивой тучкой меж бровей,
Свидетелем грозовых дней,
И буйных ливней на новины!..

Лесной ручей в серьгах калины,
Пчела в гостях у резеды,
Луч у подснежной борозды
На золотистых посиделках,
Весь в чайках, зябликах и белках,
С ягнячьим солнышком под мышкой,
Мудрец, но в городки с мальчишкой
До петухов готовый в сечи –
Рылов, одетый в свет поречий,
Он предстает родной стране
“Зеленым шумом” по весне, –
Залог, что весны зим победней!

Но кто там на скале соседней
Зажег костер сторожевой,
Орлом вперяясь в мрак седой,
Где вой волчиц и звон dospешный? –
Над кручей свесились черешни,
Вонзая когти в колчеданы,
И обжигает дым лианы,
Как парусами застя краски?
Претят художнику указки, –
Он написал Военсовет,
Где сталь на лицах и лорнет
Наводит смерть в дверную щёлку,
Меж тем как солнце в одноколку
С походной кухнею впряглось,
И зоб напряжил паровоз,
Неистов в бешеной охоте
С кометою на повороте
Поцеловаться зубы в зубы, –
То Бродский, Октябрем сугубый
С буранами из трав каленых
И листьев бурями сожженных!

“Купаньем красного коня”
Мой побратим и хлебосольник,
Под голубой сединой – школьник
За вечной книгой красоты,
Не истолок ли в ступе ты
Мои стихи и с миром вместе,
Чтобы республике-невесте
“Смерть комиссара” дать кольцом,
Бокалом крови, как вином,

Отпировав палитры роскошь?!
Тебе горящий клен, березку ж
Петрову-Водкину не сватать, —
Она в панёве, и за лапоты
Набилось хвойное порошье! . .
Но в поименной славной ноше,
В скирде из трав, смолы кедровой
Лесною речкой вьется слово
Машков! — Закатов водопой
И пастбище пролетных радуг,
Тебе ли из Советов Сада
Уйти с кошницею пустой?! —
Вот виноград пьяней сосцов,
Как юность, персик и гранаты —
Гора углей из солнца взятых
Для опаляющих пиров!
Но в поименной славной ноше,
Где резедовую порошей
Пасется солнце — лось соловый,
Мое не златорожит слово.
Его друзья — плаун да ягель,
И лишь тунгус в унылой саге,
Как вживе, заговорит с дедом,
Что утонул в слезах, неведом,
И стал ручьем, где пихта мочит
Зеленый плат и хвост сорочий!

ПЕСНЯ ТУНГУСА

Береза плачет бурой раной,
Что порассек топор коварный,
Слеза прозрачнее ребячьей,
Но так и дерево не плачет,
Как плакал дед в тайге у нас
Озёрами оленьих глаз!
Дедушка, не плачь!
Дедушка — не плачь!
Горючим варом плачет кедр
В лесной пожар из тёмных недр,
Стеня и раздирая грудь
Когтями хвой, чтобы уснуть
Навеки чёрною жариной,
Но и огонь в рубaxe дымной
Не истощался так золой,
Как бедный дед в стране чужой!
Дедушка, не плачь!
Дедушка — не плачь!
Его слезинками кукушка
Свою украсила избушку,
В оконце вставив, как слюду,
Ревнивой сойке на беду!
Дедушка, не плачь!
Дедушка — не плачь!
Когда медведь лосиной матке
Сдирает мясо у лопатки,
Чтобы вонзить язык в дупло,
Где сердце мёдом залегло,
Лось плачет жёнкою за прялкой,
Когда её побили скалкой,
Смерть упреждая тяжким мыком,
Покорствуя объятьям диким,

Но слёзы маткины – моло́ка,
Что выдра выпила с наскока
У молодого осетра,
Ей выводиться не пора
По тростниковым мягким зыбкам,
Чтоб из икры родилась рыбка!
Дед плакал горестнее лося –
Пожар и короед у сосен,
Орёл на выводке лебяжьем,
Зола пред дедовским упряжьем,
Когда впрягался он в обоз
Саней скрипучих, полный слёз!
Дедушка, не плачь!
Дедушка – не плачь!

ПЕСЕНКА ТУНГУСКИ

Чам-чам, чамарша! –
В веретёнце есть душа, –
Поселился дед в клубок,
Чтоб крутиться наутёк!
Чам-чам, чамар-чук! –
За чувалом слышен стук,
Задымилась головня –
Будет страшно без огня!

На косой багровый свет
Из могилы встанет дед,
Скажет: “Чемень, чур-чува!
Где любимая Москва?
Поищу ее в золе я,
Ледяные пальцы грея!..”
И за полночь веретёнце
Будет плакать колокольцем:
“Дин-динь-динь! Чамара ёй!
Ты умчи меня домой,
Красногривый конь Советов!”

Мало прядено за лето!
Муж приедет – будет таска.
По Нарыму бродит сказка,
Что наплакал дед озерце
Всем остячкам по ведерцу, –
Мне же два на коромысло,
Чтоб до вереска повисло,
До плакун-травы с липушей,
На тропинке в дом кукуший,
Где на лавке сивый дед –
От него простыл и след,
Только уголь на реснице!
Этот сон за прялкой снится
До зари, под бубен хвой,
Над потухшей головней!

* * *

Возьмите бороду мою
В ладони, как берут морошку,
И пейте, сердцу не в оплошку,

Лесную терпкую струю!
В ней аромат корней еловых
И дупел кедровых суровых,
Как взгляд Чамара-великана,
Но в глубине кривая рана
Мерцает, как форель меж трав,
Подводных троп и переправ!
Она медвежьей ласки след,
Когда преступником поэт
Пошел к звериному становью,
Чтоб укоризненной кровью
Отмыть позор, как грязь воловью!

Взгляните на мои седины,
Как на болотные низины.
Где пух гусиный, сизый ягель
И в котловинах плеск наваги, —
Ее бичами половодий
Пригнало из морских угодий
В болото, воронам на снедь!
И хоть расчесывал медведь
Когтистым гребнем черноуся,
Но бороды не вспенил устья
И рябь совиную не вплел
В загар и подбородка мол.
Нет! Роковая седина,
Как пепла холм, обнажена
Глазам луны, людской скребнице,
И поделом! Вина сторицей
Луны чугунной тяжелей!
Я пред собою лиходея!
Как остров ландышевый росный,
Я ткал стихи, вправляя в кросны
Сердечные живые нити,
И грозным сполохом событий
Не опалил звенящей пряжи!
Пускай же седина доскажет,
Что утаила в нужный срок
Ткачиха-муза, и уток
Отныне полнит не Кашмиром,
Не Бирмою с карельской зернью,
А шахтою с подземной чернью,
Железом и пшеничным пиром!
Пускай же седина поет
Колхозной вспашкой у ворот,
Когда земля гудит прибором
И трактор, как в доспехе воин,
Идет на глыбе чернозема,
Чтоб умолотная солома
Легла костями, побеждена!

Моя родимая страна,
То лебедь, то булат каленый,
Ждет песен, как поляна клена,
Но не в слезах у сонных вод,
А с факелом, что тучи жжет
Целованным октябрьским дыхом!
Я пригоню напев лосихой
Невиданной багряной масти
К стене кремлевской, чтоб поластил
Лесную сказку великан.
Сохатая телком берёжа
Золоторогим и пригожим,

Какого не зачать и львице
Под мгlistым пологом лиан.
Авось брыкастого титан,
Похоля, приютит в странице,
И кличку даст – “для песни слово”,
Чтобы в попоне жемчужовой
На зависть прозе-кобылице
Оно паслось в степи шелковой
Под колокольцы ковыля! . .
Ужели крыльями Кремля,
Как морем, не повеет лосю
И молочайному прокосью,
В пырей и цепкую липушу,
Он отрыгнет лесную душу
И запрокинет в синь копыта?

Взгляните на меня – изрыты
Мои виски и лба отроги,
Как берега родной Мологи
Опосле вырубки кудрей,
Ресниц, березовых бровей
И губ с рябиновой краснинкой,
Что пели вещью волынкой,
Но чаще тайное шептали!
Теперь цыганкою без шали,
Без янтарей на смуглой шее
Молога сказками мелеет. . .
Так я, срубив сердечный дуб
С гнездом орлиным на вершине,
Стал самому себе не люб,
И лишь песками по морщине
Сползают слезы, роя ямы
От глаз до скул, как берег Камы,
Косые ливни! Я виновен
До черной печени и крови,
Что крик орла и бурю крыл
В себе лежанкой подменил,
Избою с лестовкой хлыстовской
И над империей петровской,
С балтийским ветром в парусах,
Поставил ворогу на страх
Русь Боголюбского Андрея! –
Но самоварная Рассея,
Потeya за фамильным чаем,
Обозвала меня бугаем,
Николушкой и простецом,
И я поверил в ситный гром,
В раскаты чайников пузатых, –
За ними чудились закаты
Коринфа, царства Монтесумы
И протопопы Аввакума
Крестообразное горелье –
Позту пряное похмелье
Живописать огнем и красью! . .
Как с ягуаром, с красной властью,
Мороз в костях и волос дыбом,
Я правил встречу, и за глыбой
Державы царской спрятал сердце,
Чтобы глухой овечьей дверцей
Казать лишь горб да шерсти пястку
Широкой жизни, впрягшей сказку
В стальные крылья пятилетий!
Пятидесятый год отметил

Зарубкою косяк калитки
В тайник, где золотые слитки
И наговорных перлов короб
С горою песенных узоров,
Художника орлиный норов
Когтить лазурь и биться с тучей
Я схоронил в норе барсучьей...
И мозг, как сторож колотушкой,
Теленькал в костяной избушке:
“Молчи! Волшебные опалы
Не для волчат в косынках алых! —
Они мертвы для Тициана,
И роза Грека Феофана
Благоухает не для них! —
Им подавай утильный стих,
И погремущка пионера
Кротам — гармония и вера!”

Так мозг за костяным прилавком,
Где разномысленная давка,
Привалы “Да” и табор “Нетов”,
Бубнил купцом, а не поэтом
Со мной иным, чей парус бродит
В поэзии, ища угодий
И голубых материков.
Он пробудился не от слов,
Не от ночного ку-ка-ре-ку,
А зубы в зубы к человеку
Поставленный железной волей
Эпохи, что рычит от боли,
Как лев, и ласточкой щебечет,
Суля весну и плеск поречий,
Когда свирепый капитал
Уйдет во тьму к чертям на бал!
Я пробудился вешне-громным
И ягуаром разъяренным
Рычу на прошлого себя,
Впиваясь в зори октября
Новорожденными глазами!

Мои стихи — плоты на Каме
Несут сосновый перезвон,
Как в дни, когда был явью сон
И жизнь казалась нетленной,
Заморской феей иль сиреной,
Поющей в гроте из коралла, —
Она в базальты уплывала
За прялкою вздремнуть часок,
Чтоб после косы на песок
И на уступы ожерелья
Бросать с певучего похмелья!

Мои стихи — полесный плот,
Он не в бездомное отчален,
А к берегам, где кормчим Сталин
Пучину за собой ведет
И бурями повелевает,
Чтоб в молодом советском крае,
Где свежесть волн и крик фрегатов,
Ущербных не было закатов,
Как ржавых листьев в октябре,
Меж тем как прахом на костре
Пожитки смерти догорают!

Я от зимы отчалил к маю
У нив цветущих бросить снасти,
Где солнце пролетарской власти
Нагую грудь не опалит, —
Она испытана, как щит,
Разувереньем и булатом
Перед Кремлем — могучим братом
Склоняет сердце до земли:
Прости иль умереть вели!

(Поэма покрывается фугами великой стройки:
Прости иль умереть вели!)

Всего в этой рукописи двадцать пять страниц текста, писанных на одной стороне листа.

Н. КЛЮЕВ

Комментарии

“Она индийской тяжелой ковки...” Аллюзия, относящаяся к негативному переосмыслению прежнего положительного эпитета: см. “Тебе ковер индийских строк...” (обращение к Анатолию Яру в стих. “Клеветникам искусства”, 1932). Здесь он соотносится с символом неволи “цепью”, усиленной трагическим штрихом — “тяжкой ковки”.

“Я разлюбил избу под елью...” “Изба под елью” — один из опорных образов клюевского “избяного рая” (см.: “Побывал я под чудною елью / И отведал животного хлеба...” — Поддонный псалом, 1916).

“Я предстаю снегам нагорным — / Вершинам ясного Кремля”. См. иное видение советского Кремля и его обитателя: “Там сатаны заезжий дом. / Когда в кибитке ураганной / Несется он от крови пьяный, / По первопутку бед, сарыней, / И над кремлевскою святыней, / Дрожа успенского креста, / К жилью зловещего кота / Клубит метельную кибитку...” — Разруха, 1934).

“И новому стальному маю / <...> тку ковер...” См. другое смысловое наполнение “стали” (как символа, вместе с “железом”, губительного технического прогресса и как аллюзии на имя “вождя”): “Чернигов с Курском! Бык из стали / Вас забодал в чуму и в оспу...” Из цикла “Разруха”.

“И барских львов на воротах!” Имеется в виду герб определенного дворянского рода, отличительным символическим знаком которого являлось изображение льва.

“Живого трепета знамен / От гула праздничных колонн / Под ливнем первомайских роз...” Имеется в виду демонстрация 1 Мая — одного из важнейших праздников красного календаря (Международный день солидарности трудящихся).

“Завод и лира в пляске брачной...” Отвергая политику большевиков в деле насильственной индустриализации, раскрестьянивания России, Клюев неоднозначно относился к самому рабочему классу (дружил с пролетарскими поэтами), символом деятельности которого значился у него завод: “И лик столярный нам кровно ясен, / В нем сны заводов, раздумье нив...” (“Революцию и Матерь света...”, <1918>).

“С Москвой купецкой и калачной...” Реминисценция на чуть более ранние отроки: “Москва! Как много в этом звуке / Скворечниц, звона, калачей” (Анатолию Яр-Кравченко, май 1932). В обоих случаях “калачи” упоминаются как знак традиционной в литературе XIX века московской хлебосольности.

Лаба — самый большой приток Кубани, берущий начало с Кавказского хребта.

Пестрядина, пестрядь — льняная или хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения домашнего изготовления из цветных нитей; использовалась для шитья женских и мужских рубах.

Алатырь — загадочный камень, упоминаемый в сказках и заговорах в значении чудодейственного, волшебного.

Спасские ворота – топоним Москвы.

“Вокруг тебя не ходит кот / По золотой волшебной цепи”. Реминисценция на сказочный образ из поэмы А. С. Пушкина “Руслан и Людмила”: “У лукоморья дуб зеленый; / Златая цепь на дубе том: / И днем и ночью кот ученый / Все ходит по цепи кругом...”

“Как новобрачные борозды...” Автореминисценция на более ранние строки: “Как зерно залягу в борозды / Новобрачной жадной земли!” (“Зурна на зырянской свадьбе...”, <1921>).

Колгуев – остров в Северном Ледовитом океане, относящийся к Архангельской области.

Расшива – быстроходное плоскодонное парусное судно на Волге и Каспийском море.

“О жизнь! О легкие земли / <...> По новям плещут ковыли...” Фрагмент более раннего стихотворения. “Сегодня звонкие капли...” из цикла “О чем шумят седые кедры” (1930–1932).

“Или заря, обняв другую, / Не хочет деду ветродую / Отдать лесистые бугры...” Реминисценция на строки А. С. Пушкина из поэмы “Медный всадник”: “Одна заря сменить другую / Спешит, дав ночи полчаса”.

“Красна украинская ночь...” Реминисценция на пушкинскую строку: “Тиха украинская ночь...” (из поэмы “Полтава”).

Кола – река в Архангельской области.

Вежа – шалаш, палатка.

“Он грудь мою рассек мечом / И, вынув сердце, майский гром, / Как птицу, поселил в подплечье...” Реминисценция на строки стихотворения А. С. Пушкина “Пророк”.

“Песнослов” – клюевское новообразование по аналогии с “Молитвослов”; название двухтомного собрания стихотворений поэта (1919). Этим словом Клюев называл и самого себя.

Инде (древнерусск.) – в другом месте, в другой раз, где-нибудь; усиленная частица, соответствует же.

Алконост – в русской книжной фантастической литературе птица печали, изображалась с девичьей головой (в венце) и грудью.

Остяцкий – относящийся к остякам, народности угро-финского племени, живущей по рекам Оби и Иртышу.

“Орел с латунными когтями” – герб свергнутой в революцию 1917 года царской власти.

“Он пальмы сирские колышет...” Имеются в виду пальмы, произрастающие в Сирии.

“Чтоб бледнорукому злодею / Надела Индия на шею / Мертвящей льдиною пифона”. Расхожее в советской поэзии предсказание расправы колониальной страны над своей капиталистической метрополией (в данном случае это Индия и Англия); пифон – в греческой мифологии чудовищный змей, был сражен Аполлоном.

“Сосен звоны” – намек на название первой книги стихов Клюева “Сосен перезвон” (1912).

Лопарка, лопари – старое название финской народности, населяющей северные окраины Европы, Лапландию (Норвегия, Швеция, Финляндия, Архангельская обл.).

“Могучий кормчий у руля” – велеречивый эпитет главы советского правительства И. В. Сталина (1879–1953) в период культа его личности.

“И над Невою всадник” – памятник Петру I (Медный всадник) в Петербурге.

“Как холмы Грузии родной!” Реминисценция на первую строку стихотворения А. С. Пушкина “На холмах Грузии лежит ночная мгла”.

“Чу! За Уралом стонут руды! / Их бьет кирка в глухую печень...” Имеется в виду промышленный пафос советских пятилеток, освоение новых сырьевых источников, в основном Урала и Сибири.

Кобзарь – на Украине странствующий певец, поющий под аккомпанемент кобзы (струнного музыкального инструмента, бандуры); название сборника стихов Шевченко (1840, 1860)

Поморье – местность на севере европейской России по берегам Белого моря, Онежского озера, Северной Двины и далее к востоку, ставшая в поэзии Клюева символическим пространством самобытной национальной русской

культуры и независимой от официальной (“синодальной”) церкви старообрядческой веры, источник духовных корней поэта.

Орочон, орочоны – народ тунгусского племени, проживавший в Приморье, по Амуру, в Забайкалье и Манчжурии.

Ясачный – относящийся к ясаку (натуральному налогу в России XV–XX вв. с народов Сибири и Севера, в основном пушниной).

“*Не старый ладожский дьячок...*” Намёк поэта на самого себя, так назвал его С. Есенин в своём стихотворении “Поэтам Грузии” (1924).

“*Твой призрак морочно-весенний / Над омутом вербой сизеет / С верёвкой лунною на шее...*” Намёк на гибель Есенина, найденного в петле в ленинградской гостинице “Англетер”.

“*Смешного дуралея*” в сани / *Впрягли...*”. Образ из стихотворения С. Есенина “Сорокоуст” (1920): “Милый, милый смешной дуралей...” Эпитет “красногривого жеребёнка” как воплощения живой и трепетной красоты русской деревни, обречённой на слом, не способной выстоять перед напором технического прогресса, символом которого выступает в данном произведении паровоз.

“... и твой “Сорокоуст” / *Блинами паюсными пуст...*” Намек на будто бы не оправдавшиеся опасения Есенина в “Сорокоусте” касательно обречённости русской деревни (сорокоуст – поминальный обряд по умершему на сороковой день, при котором блины составляли важнейшую часть ритуальной трапезы).

Васильев Павел Николаевич (1909/1910–1937) – поэт, прозаик. Был в дружеских отношениях с Клюевым, высоко ценившим живописную энергию его поэтического слова и подчеркивающим в нем, с учетом его происхождения из южной Сибири, черты степной, восточной экзотики: “Полыни сноп, степное юдо, / Полуказак, полукентавр, / В чьей песне бранный гром литавр, / Багдадский шелк и перлы грудой, / Васильев – омуль с Иртыша” (Клеветникам искусства, 1932).

Клычков Сергей Антонович (1889–1937) – поэт, прозаик, критик, наиболее яркий вместе с Клюевым и Есениным представитель так называемой новокрестьянской поэзии. Был в близких отношениях с Клюевым, высоко ценившим его стихи, называвшим их “хрустальными песнями”, отмечавшим в них свежесть “апрельского леса”. Не меньше ценил он и его исполненную лесной “чари и сладости” прозу.

“*Тверские скудные поля*”. Слегка измененная строка (“Тверская скудная земля”) из стих. А. Ахматовой “Ты знаешь, я томлюсь в неволе...” (1913).

Прокофьев Александр Андреевич (1900–1971) – поэт, родом с Ладogi, близок Клюеву поэзией русского Севера с примесью фольклорного элемента. Мнение Клюева о его творческой личности было, однако, невысоким. Так, например, в письме художнику Анатолию Яр-Кравченко от 10 мая 1932-го он писал: “Жадно ты набрасываешься на известия, что Прокофьев не прочь у тебя зарисоваться, хотя это тебе не прибавит ни одного свежего листика в венок, да и рисовать Прокофьева незначительно, если не бессмысленно <...> На самом же деле нужно поступить очень просто. Получить деньги не частями, а сразу, не расходовать их, плюнуть Прокофьеву в дурацкую рожу, которая кирпича просит, а не твоей кисти, собрать остатки вещей и приехать с первым поездом в Москву (Гранатный пер., дом № 12, кв. 3) к поэту Николаю Алексеевичу Клюеву” (Словесное древо. С. 279).

Ахмет Смоликов – вымышленное имя, за которым, возможно, скрыт кто-нибудь из поэтов-современников, разгадать которого не удалось. Можно только предположить, что это мог быть либо Владимир Нарбут (1888–1944), который до своего ареста в 1936 году пребывал уже на положении “опального поэта”, либо Ярослав Смеляков (1912–1972), арестованный первый раз в 1934 году. Оба они в год написания “Кремля” значились уже “неупоминаемыми”.

Мандельштам Осип Эмильевич (1891–1938) – поэт, прозаик, критик, один из ведущих представителей акмеизма, вместе с Н. Гумилевым, А. Ахматовой и В. Нарбутом. Им была дана высокая оценка поэтического мира Клюева – “пришельца с величавого Олонца, где русский быт и русская мужицкая речь покоятся в эллинской важности и простоте” (Письмо о русской поэзии, 1922).

Рождественский Всеволод Александрович (1895–1977) – поэт, мемуарист. Был лично знаком с Клюевым, положительно отрецензировал его поэму “Мать Суббота”.

Пастернак Борис Леонидович (1890–1960) – поэт, прозаик, переводчик, мемуарист. Не контактируя близко, оба поэта высоко ценили талант друг друга. В записке от 12 февраля 1933 года Пастернак Клюеву писал:

“Дорогой Николай Алексеевич!

Благодарю Вас за большую радость, доставленную Вашими строками. Ценю ее и дорожу Вашим приветом. Давно мечтал с Вами познакомиться...” (См.: Из творческого наследия советских писателей. Л., 1991. С. 297).

“Где демон кровянит крыла...” Образ, намекающий на строки стихотворения Б. Пастернака “Памяти демона” (1917): “Не рыдал, не сплетал / Оголенных, исхлестанных в шрамах”, возможно, навеянный серией картин М. Врубеля “Демон”, в том числе “Разбившийся демон” (1901). Образ восходит также к поэме М. Ю. Лермонтова “Демон” (не случайно упоминается имя этого поэта на фоне кавказского пейзажа).

Харон – в греческой мифологии перевозчик теней умерших через реку Стикс в подземный мир, в царство мертвых.

“Чтоб детский сон, / На даче, под июньский ливень / Перевезти...” Намек на строки стих. Б. Пастернака “Вторая баллада” (1930): “На даче спят... Льет дождь... / Как только в раннем детстве спят”.

Сива (в звуковой огласовке Клюева) – Шива, в индуистской мифологии один из трех верховных богов, входящий вместе с Брахмой и Вишну в божественную триаду (Тримурти).

“Вот дерево с пакетом синим, / С приказом взять аль умереть...” Отсылка к стихотворению Н. Тихонова “Баллада о синем пакете” (1922) – о силе воли солдата революции, неподвластной никаким препятствиям.

“Орда” и “Брава” (обе – 1922) – первые книги стихов Николая Тихонова (1896–1979). Клюев встречался с ним в 1920-е в период их совместного проживания в Ленинграде. Известны негативные оценки, данные Клеуевым Тихонову как поэту: “Н. Тихонов довольствуется одним зерном, а само словесное древо для него не существует. Да он и не подозревает вечного бытия слова” (Словесное древо. С. 69).

Безымянский Александр Ильич (1898–1973) – поэт, один из ведущих представителей РАПП (Российской Ассоциации пролетарских писателей, 1925–1932) и наиболее ярких преследователей Клеуева и других новокрестьянских поэтов с позиций партийной ортодоксальной критики.

Корин Павел Дмитриевич (1892–1967) – художник, близкий Клеуеву по изображению крестьянской России новейшего времени. Был лично знаком с поэтом. Известно его неодобрительное высказывание о склонности Клеуева к игре и позе: “Как это не надоело ему играть роль... Однажды мне пришла мысль написать его портрет. Но он встал в такую нарочитую позу, что я понял, что портрета у меня не получится. Мне хотелось изобразить его таким, каким он бывает в тот момент, когда читает, когда он больше всего похож на самого себя” (См.: Николай Клеуев. Исследования и материалы. М., 1997. С. 238).

Кошма – корзинка, короб.

Яковлев – художник, один из 15-ти, входивших в художественные объединения России и Советского Союза. Кто из них имеется в виду, из текста неясно.

Рылов Аркадий Александрович (1870–1939) – художник-пейзажист. Клеуев с ним общался. В семейном архиве Б. Н. Кравченко сохранилась посланная им Клеуеву поздравительная открытка с надписью: “Христос Воскресе! С праздником светлым поздравляю. А. Рылов. 14 /4 1928”. На открытке репродуцирована известная картина Рылова “Перелет гусей”. Это “типографское” название зачеркнуто рукой художника и вместо него им же чернилами написано: “Лебеди над синим морем”.

“Зеленый шум” – картина Рылова.

Бродский Исаак Израилевич (1883/1884–1939) – живописец, график. В дореволюционный период основные темы его творчества – пейзажи, портреты, после революции – историко-революционные и на современные сюжеты. Анатолий Яр-Кравченко учился в его мастерской.

“Военный совет”. Вероятно, имеется в виду картина И. Бродского “Заседание Реввоенсовета”.

Петров-Водкин Кузьма Сергеевич (1878–1939) – художник, Клеуев был с ним близко знаком. Здесь им названы две его известные картины “Купание красного коня” и “Смерть комиссара”.

Панёва (панява) – нижняя льняная одежда, рубаха, домотканая женская одежда типа юбки.

Машков Илья Иванович (1881–1944) – живописец, один из основателей общества художников “Бубновый валет” (1911–1917).

Боголюбский Андрей (ок. 1111–1174) – князь Владимиро-Суздальский (с 1157), сын Юрия Долгорукого, был убит заговорщиками.

Коринф – древнегреческий город, знаменитый своими храмами Аполлона, Артемиды, Афродиты и др.

Царство Монтесумы – государство ацтеков, существовавшее на территории современной Мексики под управлением Монтесумы II с 1502 по 1519.

Протопоп Аввакум (Аввакум Петрович Кондратьев, 1620–1682) – глава старообрядческого движения в русской церкви, выступавшего против нововведений патриарха Никона, писатель; был сожжен вместе с несколькими единомышленниками в Пустозерске (Архангельская обл.). Его образ в жизни и творчестве Клюева играл исключительно важную роль. Причисляя себя к наследникам заветов “древлего благочестия”, поэт и свое родовое древо (по материнской линии) возводил к аввакумовскому корню, о чем свидетельствует его биографический, выдержанный в “житийном” стиле рассказ “Праотцы”, в котором приводились слова матери: “В тебе, Николаюшка, Аввакумова сле-за горит, пустозерского пламени искра шает. В нашем колене молитва за Аввакума застойной была и праотеческой слыла” (Словесное древо. С. 44). Тут же она дополняет, что в детстве ей привелось слышать, будто род их “от Аввакумова кореня повелся”. К образу Аввакума как духовного “праотца” Клюев обращался и в стихах: “Ты жгучий отпрыск Аввакума, / Огнем словесным опален” (поэма “Каин”, 1929), и в своих размышлениях-эссе: “Вот подлинно огненное имя: протопоп Аввакум! После Давида царя – первый поэт на Земле, глубиною глубже Данте и высотой выше Мильтона. <...> Брачные пчелы Аввакума не забыли” (Словесное древо. С. 61). Жизнеописание свое Клюев создавал, несомненно, оглядываясь на знаменитое “Житие протопопа Аввакума, написанное им самим” (1672–1675).

Тициан Вечеллио (1476/1477 или 1489/1490–1576) – итальянский художник, замечательный колорист, мастер в изображении нагого тела. Клюев в своем творчестве обращался к нему неоднократно, в частности, в стихотворении “Не буду петь кооперацию...” (1926), где проникновение “тицианова зелия” в трагическую красоту человеческого тела, а также в глубину и силу духа противопоставляет утилитарно-поверхностной кисти Н. Богданова-Бельского с “ее полезностью рыжей и саженой”. В этом же стихотворении посвящены строки одному из значительных образов Тициана – Святому Себастьяну (прекрасному юноше, раннехристианскому мученику): “Себастьяна, пронзенного стрелами, / я баюкаю в удах и в памяти...” Муку своего творческого акта он сравнивает с мукой Себастьяна:

*Но в словесных извивах и срывах,
Себастьянов испив удел,
Из груди не могу я вырвать
Окаянных ноющих стрел.*

Феофан Грек (ок. 1340–1405) – иконописец, расписывал вместе с Андреем Рублевым старый Благовещенский собор в Московском Кремле и фрески в Новгороде.